

Отношения с «другими» и болезни

1 Возникла чрезвычайная ситуация. В парижской Опере поставили «Деревенского колдуна», и на премьере в небольшой ложе присутствовали король Франции с г-жой Помпадур, в зале была вся королевская семья и весь двор. Жан-Жак явился «в своем обычном небрежном виде», с плохо причесанной бородой («принимая этот недостаток благопристойности за проявление мужества», острит в свой адрес Руссо). Он был усажен в первом ряду, единственным мужчиной среди млевших дам. Успех был трогательным. Жан-Жак наслаждался непривычной ролью триумфатора (и добавляет с улыбкой, повествуя об этом неповторимом происшествии, что, конечно, более всего его радовали восторги дам).

После чего восхищенный Людовик XV впервые назначил ему аудиенцию. Понятно, что от ее исхода многое зависело в дальнейшей судьбе Руссо... В частности, подобный прием принято было завершать назначением пожизненной пенсии, и, по-видимому, король желал объявить об этом ему лично. Герцог Омон, который должен был представить сочинителя, велел передать, что завтра в 11 часов ему надлежит прибыть во дворец. Друзья хором пожелали ему успеха.

Но Жан-Жак сильно заколебался. Во-первых, он опасался своей неловкости в великосветских ритуальных беседах и уж вовсе не знал, как следует говорить с королями. Не растеряется ли он и найдет ли быстрый и достойный ответ?

Да и пенсия, обеспечив житейские нужды, сделала бы его зависимым. Все это совсем не соответствовало его привычкам и вкусам, его, подчас вызывающей, плебейской гордости. «Прощай, истина, свобода, мужество! <...> Приняв пенсию, мне оставалось бы только льстить или молчать». Он и тут искренен. Спустя несколько лет после этого он также имел случай в силу того же мотива отказаться от доли в заведении знатного покровителя и друга (с. 54).

Уклониться от приема и пенсии вместе с тем казалось слишком дерзким... и бессмысленным. Это – одновременное – признание в колебаниях делает его правдивость еще более достоверной.

Кроме того, была другая причина, куда основательней, он рассказывает и о ней. Руссо с молодости страдал недержанием мочи и потребностью в частых мочеиспусканиях, возможно, из-за хронического простатита, и это делало его положение более чем затруднительным в светских гостиных. Так же тяжело и рискованно по этой причине ему довелось ощущать себя во время недавней премьеры «Деревенского колдуна» в присутствии королевского двора. Это было, как можно предположить, тоже одной из причин нараставшего невроза, склонности к отшельничеству и частого чувства одиночества.

Боже мой, что если такое произойдет с ним во время аудиенции! Эта «потребность часто выходить заставила меня очень страдать во время спектакля ... Я предпочел бы умереть, чем пережить такой скандал». И после колебаний Руссо решительно отказался от приема у его королевского величества (с. 328–334)!

Вскоре он уехал прочь из Парижа, где его единодушно упрекали затем в «глупой гордости».. Перед отъездом Жан-Жак встретил Дидро, который требовал принять пенсию, хотя бы ради Терезы, и принялся осыпать его упреками. Это был их первый горячий спор и начало расхождения.

Он ведь даже не мог никому толком объяснить, почему так решил. Только будущим читателям «Исповеди».

2 Придется остановиться на этой, не слишком аппетитной и увлекательной, но очень важной для сознания и существования Руссо, а следовательно и для нас, теме.

В 1763 году Руссо оставил завещание. В этом документе, в связи с распоряжением о посмертном вскрытии и изучении его тела, очень много места уделено – что, разумеется, совершенно необыкновенно для завещания! – размышлениям Жан-Жака о возможных причинах его урологического заболевания и требованию установить при вскрытии оставшуюся непонятной для него соматическую причину его мучений. Ему-то что, если сам он о причине уже не узнает? Но это Руссо...

Странная болезнь, снедавшая меня в течение тридцати лет, которая, по всей видимости, и прикончит меня, столь отлична от других заболеваний того же рода, которые всегда приводят в замешательство врачей и хирургов, что, я полагаю, послужит общественной пользе, если эта болезнь будет исследована после моей смерти в том самом месте, где она гнездится. Вот почему я желаю, чтобы мое тело было вскрыто опытными людьми, если это возможно, и чтобы было обнаружено расположение источника болезни, почему я и прилагаю здесь заметки к сведению хирургов. Части тела, пораженные болезнью, должны быть изучены особенно тщательно, поскольку в течение двадцати лет все то, что предпринимали самые умелые и знающие целители, чтобы смягчить мои мучения, приводило лишь к тому, что они обострялись.<...> В течение двадцати лет я страдал задержками мочи. Я заявляю, кроме того, что у меня никогда не было ни одной из болезней, которые часто ведут к явлениям подобного рода ... То, что я сказал только что, наверняка так и есть, и я настаиваю на своем утверждении, потому что врачи и хирурги отказывались мне верить и они ошибались. Дело в том, что они не искали причину болезни

там, где она могла быть ... Вот уже двадцать лет я страдаю от задержек мочи, начало которых я замечал еще в детстве и которые я долго приписывал действию камня. Месье Моран, как и другие самые искусные хирурги, никогда не могли меня зондировать, поэтому я оставался неуверен в такой причине, пока монах Ком не сумел достичь этой цели, введя гораздо более тонкий зонд, посредством которого он удостоверился, что нет и следов камня.

Мои задержки происходили не так, как у тех, кто имеет почечно-каменную болезнь, которые мочатся обильно, но с сохранением остатка. Мой недуг был постоянным. Я никогда не мочился обильно, притом у меня никогда не было и полностью высвобожденного пузыря, но поток был лишь более или менее затруднен, и я всегда продолжал ощущать позывы, почти постоянную потребность, которую я никогда не мог надлежащим образом удовлетворить. Я отмечаю, однако, в этих несоответствиях непрерывное нарастание, из-за которого струйка мочи утончалась с каждым годом, и это заставляло меня думать, что позже или раньше она вовсе остановится.

Мне кажется, что препоны ... всегда крылись в пузыре, потому что из года в год я применял все более длинные зонды и в последнее время уже не знал, как их еще более удлинить.

Бани, диуретики, все то, что обычно облегчает такого рода страдания, только усугубляли мои и никогда не приносили мне ни малейшего облегчения. Врачи и хирурги никогда не могли воздействовать на мою болезнь иначе, чем пустыми рассуждениями, так что они скорее пытались меня утешить, чем наставить; не зная, как вылечить тело, они хотели взамен лечить дух. Их старания помогали одному не больше, чем другому. Я зажил гораздо спокойней, когда перестал обращаться к их услугам.

Брат Ком нашел простату сильно увеличенной и очень жесткой, словно бы нездоровой. Вот к чему привели его наблюдения. Причина болезни коренилась, конечно, в простате,

или в шейке пузыря, или в мочевом канале, или сразу во всех трех. Никким образом нельзя искать эту причину в застарелых последствиях какого-либо венерического заболевания. Потому что я заявляю, что у меня никогда не было ничего подобного. Я говорил это искусникам, которые меня врачевали. Многие из них мне не верили. Они ошибались.

Этот недуг, продолжает Руссо уже в восьмой книге «Исповеди», был основной причиной его *стремления* к уединенности, а также его нередких неудач с женщинами. При одной мысли о том, что такое с ним может приключиться в любой неподходящий момент, он приходил в ужас. «...Я предпочел бы смерть».

После вскрытия на следующий день после кончины тело Жан-Жака тщательно и всесторонне обследовали тогдашние врачи и пришли к заключению, что ни в одном внутреннем органе, находящемся ниже желудка нет ни одного, который был бы нездоров или отклонялся от естественной нормы. Зато обнаружили обширные поражения мозга и мозговой коры. Иными словами, Руссо умер от «тяжелой апоплексии» Что до страданий при мочеиспускании, то патологоанатомы были склонны приписать их сугубо нервным спазмам¹³.

Полагаю, что читатели будут поражены не только длинными выписками, сделанными проф. Ж. Старобински и переведенными мною, но и озадачены, зачем мне они понадобились.

У меня есть простое объяснение. Но оно будет дано далеко не сразу

З Чтобы более не возвращаться к болезням Руссо, упомянем о самой серьезной из них. Уже смолоду он стал ощущать за грудиной боли, сильную одышку при физической нагрузке, сердцебиения и т. п.

Руссо описывает все проявления недуга с обычной своей обстоятельностью, и нынешний кардиолог, очевидно, нашел бы у него тахикардию, сердечную недостаточность, стенокардию и, как следствие, частую большую слабость. Впрочем, поскольку я не врач, а всего лишь опытный пациент, не мне судить.

Он то и дело простужался и рано стал опасаться сырой погоды и зимних холодов, стараясь не выезжать в такую пору из дома. Он то и дело ощущал себя чуть ли не умирающим, а умер 66 лет от роду, что в те времена было вполне почтенным возрастом.

Не исключено, судя по очень драматическому тону жалоб Жан-Жака, что он, в юности крепкий и достаточно здоровый, был склонен к некоторой мнительности. Вместе с тем эти сведения естественно вписываются в общую картину пристального внимания к себе, к своим личным состояниям, тем более что недуги вполне реально мешали быть «действительным Руссо», полнокровно и с удовольствием жить и сочинять.

Давнее и полузабытое заключение о смерти в результате мгновенной «апоплексии», т. е., очевидно, инсульта, на фоне описанной им самим симптоматики кажется вполне правдоподобным.

4 Перейдем к начавшимся по мере приближения к 50-летию разрывам почти со всеми друзьями, обостренным далее, судя по второй половине «Исповеди», несмотря на европейское признание трактатов и романов Руссо, убийственным чувством личного одиночества, связанным, по его убеждению, со сплошными предательствами, враждебными интригами и наветами.

Параллельно очень важно также и его отношение к случайно встретившимся на извилистом жизненном пути

другим людям. Словом, приглядимся к более обобщенным чертам его личности. Это нескончаемая тема, как и многое, чем наполнены воспоминания Руссо. Нам придется коснуться только некоторых выразительных эпизодов.

Начнем с уважительных и добрых отзывов об отце, одновременно сочетавшихся у Жан-Жака с трезвой и честной пронизательностью в отношении характеров и поведения – как себя, тогдашнего, так и отцовского (с. 53–54). «Он любил меня очень нежно, но любил также удовольствия, а с тех пор, как я стал жить вдали от него, другие интересы охладили его отцовскую привязанность».

Продолжим повторным, но потому уже беглым, упоминанием о Луизе де Варанс. «Нельзя отрицать «симпатию душ» (с. 50). Беспристрастные, хотя и взволнованные рассказы Руссо о прежних отношениях между ним и г-жой Варанс, о своеобразном складе ее ума и сердца, столь непохожем на его собственный, но кое в чем (конечно, особенно в том, что касается сердца) близком ему, уже в начале «Исповеди» показывают, что исходная максима Руссо («я один» и «непохож на других») относится не только к себе, но и к другим людям. Все вылупились из одного яйца (или, по-современному, из генотипов первой пары), и каждый – более или менее – непохож на остальных. Каждый человек – более или менее особенный. И каждый – тоже более или менее – в конце концов, всегда одинок. Чем ближе к концу, тем, как правило, сильнее. И он, Руссо, тоже, как и все, но – по неповторимым внешним и внутренним причинам.

...Ее любящий и кроткий характер ... ее нрав, веселый, открытый, искренний, никогда не изменялись; и даже с приближением старости, среди нищеты, болезней, разных бедствий, ясность ее прекрасной души сохранили ей до конца жизни всю безмятежность лучших дней.

Ее заблуждения происходили из неисчерпаемой потребности действовать, ищущей непрестанного применения.

Не к женским интригам стремилась она, но к предприятиям, которые нужно было создавать и направлять. Она была рождена для великих дел. <...> Ее таланты пропадали зря, и то самое, что в других обстоятельствах создало бы ей славу, – при том положении, которое она занимала, привели ее к гибели. <...> Употребляя средства, соразмерные скорее ее намерениям, чем силам, она терпела неудачу по вине других и т. д. (с. 49).

Прекрасен по душевной чуткости, вдумчивости и беспристрастности разбор причин поведения и тона г-жи Верселис, больной раком груди, холодной с окружающими, не сказавшей ни одного ласкового слова и лакею Жан-Жаку, но при приближении конца неожиданно преобразившейся, преодолевая таким образом «со стороны разума ... тяжкую безысходность своего положения». Вдруг она стала спокойной, веселой и приветливой, постоянно и ровно, а значит, безо всякого притворства (с. 75–78). Руссо считает нужным описать замечательный эпизод. Когда женщина была уже в агонии, она «издала громкий звук». И нашла в себе силы обернуться и сказать: «Отлично!.. Женщина, способная на это, еще не умерла». Это были ее последние слова. Она тоже – на свой лад – была одинокой... и тоже «непохожей на других».

И дальше, дальше, кого, в общем, ни возьми.

Отношение Руссо, судя, по крайней мере, по первой части «Исповеди», при знакомстве с ранее неизвестными людьми было поначалу доверчивым и благожелательным, подчас даже пылким. Жан-Жак легко бывал захвачен интересными людьми, как и всякими занятиями. Затем увлечение людьми сочеталось с анализом их своеобразного и подлинного внутреннего устройства. Потом увенчалось навсегда благодарной памятью о них либо разочарованием – тем более горьким, чем дороже была для него привязанность.

Сумасбродное увлечение совсем непохожим на юного Жан-Жака, шумным, грубоватым и ревнивым, но уж больно колоритным г-ном Баклем, мужем привлекательной г-жи Бакль. Хотя Руссо и понимал, что тот был «в конце концов простым неучем». Но как раз полное несовпадение с ним самим и обостряло впечатление.

Мгновенное отвращение к латинисту в духовной семинарии, где юному Руссо довелось пробить совсем недолго, и к еще одному «дрянному человеку» там же, к некоему г-ну Корвелли.

Напротив, увлечение «добрым г-ном Гро».

Сочувствие оригинальному, обаятельному, приветливому, но всегда с грустными глазами, впоследствии очень несчастному «молодому аббату Гатье». Спустя много лет, давно потеряв его из виду, Руссо вспоминает беды, незаслуженно постигшие Гатье и «глубоко запавшие в его сердце».

Радостное увлечение наряду с живописными наблюдениями и прекрасным музыкантом (давшим Руссо по этой части много полезного), деликатнейшим отцом Леметром, к сожалению, постепенно спивавшимся. И странноватым, забредшим в феврале, «в большую стужу», к Леметру и затем оставшимся, тоже вроде бы «французским музыкантом», притом очень способным, Вантюром. Незнакомец явился в страшно смешном и небрежном одеянии, за которым скрывалось душевное благородство. Он был, по мнению Руссо, очень милым, хотя иногда нескромным, неистощимым шутником. В нем угадывался, нет, не «настоящий бродяга», но «беспутный повеса». Руссо тут же влюбился и в него, все в нем казалось ему обаятельным. Но, замечает он, «моя привязанность не доходила до того, чтобы я не был в состоянии расстаться с ним ... находя, что его убеждения очень хороши для него, я чувствовал, что они не годятся для меня ...» (с. 113–115).

Еще прекрасна попытка объективной и вдумчивой характеристики своеобразного г-на Симона (с. 128–130).

Или – причем привычно самоироничная – характеристика непростого аббата Гемма. «В последовательной смене моих вкусов и представлений о жизни я то подымался слишком высоко, то опускался слишком низко, – был Ахиллом или Терситом, героем или негодяем. Г-н Гемм постарался поставить меня на место и показать мне меня самого, не щадя и не обескураживая ... Он сильно поколебал мое преклонение перед властью имущими, доказав мне, что те, кто повелевает другими, не мудрее и не счастливее их ... Эта мысль, поразительно правдивая и ничуть не преувеличенная, часто помогла мне в моей жизни, заставляя спокойно оставаться на своем месте» (с. 81).

5 Да, но так ли уж спокойно?
Продолжим, возвращаясь к женевскому детству, пылкой привязанностью к дорогому и хилому кузену Бернару, с которым были тесно связаны те годы и которого он бешено защищал в мальчишеских драках. «Я бил и бывал битым». Они с Бернаром даже старались не выходить на улицу. И вот Жан-Жак стал поэтом «мрачным бирюком». «Потребность в товарищах была в нас так мала, что мы пренебрегали представлявшимися случаями приобрести их. Гуляя, мы смотрели мимоходом на игры других мальчиков без зависти ... Взаимная дружба так наполняла наши сердца, что нам достаточно было быть вместе...» (с. 16, 28, 40).

Уже будучи в Венеции и ощутив в душе «зачаток возмущения против наших глупых гражданских установлений, которые подлинное общественное благо и настоящую справедливость всегда приносят в жертву какому-то мнимому порядку», – Руссо успокаивал свой «гнев» «обаянием дружбы». Например, он познакомился с неким «милым юношей», талантливым баском, и несколько позже без раздумий поселился вместе с ним в Париже. «Какие сокрови-

ща познаний и добродетелей нашел я в этой сильной душе! Я почувствовал, что встретил наконец друга, какой мне нужен: мы близко сошлись. Наши вкусы были неодинаковы, мы всегда спорили. Оба упрямые, мы никогда ни в чем не были согласны. И вместе с тем мы не могли расстаться; мы без конца противоречили друг другу, но ни один из нас не хотел бы, чтобы другой был иным, чем он есть». Его звали Игнацио Эммануил де Альтуна. Он рано умер. «Наружно он был набожен, как испанец, – но внутри это было благочестие ангела. Не считая себя самого, с тех пор, как я живу, не видел такого терпимого человека. Он никогда ни у кого не осведомлялся о религиозных взглядах. Кто его друг – еврей, протестант, турок, святоша, безбожник – ему не было дела, лишь бы это был честный человек. Упрямец, спорщик в вопросах, не связанных с религией, он, как только шла речь о ней, даже о нравственности, задумывался, умолкал или говорил просто: “Я отвечаю только за себя”» (с. 285–286). Все это поразительно близко к формулам нашего современного высокого индивидуализма.

Nota bene! Кажется, здесь заключен последний ответ Руссо насчет его принципиального отношения к «другим». Он справедливо и с негодованием отвергал обвинения в «мизантропии». Очевидно, что «гнев» зрелого Руссо не был экзистенциальным и врожденным. У него иные, конкретные причины и границы. Нам придется еще не раз их обдумывать.

Ниже, описывая характер Игнацио, Руссо высказывается, разумеется, одновременно и о себе – резко и исчерпывающе. «Этот мудрец, по сердцу и по уму, разбирался в людях – и стал моим другом. В этом весь мой ответ всякому, кто мне не друг» (с. 287).

Сколько людей (ему тогда еще не было 18-ти), стареющий Руссо с увлечением и беспристрастно вспоминает на протяжении одного только завершения третьей книги «Исповеди». Сколько у него за всю странническую жизнь было

знакомств, подчас беспредельно близких сердцу, подчас ненужных или впоследствии опостылевших.

Но какой неиссякающий интерес к «другим»! Какое сильное и окрашивающее ход воспоминаний понимание особенностей каждого и какое любопытство по поводу их естественного несходства между собой! Всегда с параллельным осмыслением и себя особенного – сквозь призму отношений с другими.

6 Для понимания социальной маргинальности Руссо равно среди и знатных друзей, и ученых вольнодумцев нужно прежде всего понять окраску и предпосылки его склонности к опрошению. То есть к его странным для почти всех окружающих «деревенским» привычкам, его ярко плебейскому чувству достоинства, его вызывающему демократизму. Оценим те биографические эпизоды и подробности, которые – наряду с врожденными свойствами характера – определили также и тягу к одиночеству, и отвращение ко многим (вовсе не всем!) «другим». Заодно – но отнюдь не с теоретической стороны, а только в избранном мною ракурсе – и его социальные взгляды, стоящие особняком в культуре Просвещения.

В детстве Жан-Жак два года жил в деревне. А позже, бродяжничая в юности близ Женевы, ночевал «у знакомых крестьян, встречавших меня радушнее, чем это сделали бы городские жители. Они принимали меня, давали мне кров, кормили и были слишком простодушны, чтобы видеть в этом заслугу» (с. 45).

Руссо был тесно связан с незатейливым образом жизни ремесленников и крестьян. Он с молодых ногтей часто находил у них доброту и поддержку. Он сам отчасти всегда продолжал в чем-то оставаться одним из них. Хотя и откровенно искал полезных для карьеры и благополучия зна-

комств, хотя и знался с влиятельными светскими особами либо с лучшими умами эпохи, – он оставался, повторяю, выйдя из низов, одним из них. Плюс неизбежное даже до 1760-х годов, видимо уже с юности, отнюдь не высокомерное чувство дистанции, даруемой образованностью и зреющим гением.

Отсюда некая идейно и психологически неустраняемая двойственность его положения в обществе после своего словно бы неожиданного блестящего взлета. Все более двусмысленная и мучительная в зрелые годы. В частности, в пору «Исповеди».

Начнем с самого простого, с его упорных гастрономических пристрастий, чего я касался уже, но не предметно. Будучи «падок на все вкусное», Руссо с удовольствием поминает неизменно любимую еду. Вскоре после начала бродяжничества юный Руссо зашел к торговке молочными продуктами – и насладился «джункой», т. е. особым видом творога, простоквашей и парой продолговатых пьемонтских хлебцов, «которые я предпочитаю всякому другому хлебу – за пять-шесть су я пообедал так, как мне редко удавалось обедать за всю мою жизнь» (с. 67).

(Для приподнятого стиля Руссо неизменна манера гиперболизировать каждое памятное впечатление и переживание, которое тут же концентрируется и описывается как самое сильное «за всю мою жизнь». Предаваясь воспоминаниям, он каждый сладкий или, напротив, горький миг существования делает особо значимым или даже неповторимым.)

После столь дешевого и замечательного обеда «нужно было отыскать себе пристанище ... Мне указали на одну солдатку с улицы По: за одно су она давала на ночь приют безработной прислуге. Я нашел там пустую койку и занял ее». Все время, что Жан-Жак там жил, «мы спали в одной комнате», молодая хозяйка с пятью или шестью детьми, все постояльцы и он, будущий автор «Общественного договора». «В общем,

это была славная женщина, ругавшаяся как извозчик, вечно растрепанная и кое-как одетая, но с добрым сердцем и услужливая ... Она относилась ко мне дружелюбно ...» (там же).

Так работает память уже знаменитого и очутившегося в светском обществе Руссо. Он живописует давнее пребывание среди простого и полунищего люда с явным удовольствием.

Еще один, уже поздний, пример из того времени, когда он, благодаря благоволению принца Конде и герцогов Люксембургских, жил в Монморанси, в данном ему для проживания очередном садовом домике Мон-Луи. Руссо не пожалел сил и времени, чтобы обосноваться там по своему вкусу: «И вот я ухитрился сделать себе из одной комнаты на втором этаже полную квартиру, состоявшую из спальни и гардеробной. <...> Башня служила мне кабинетом; в ней поставили хорошую застекленную перегородку и сложили камин» Вокруг террасы Жан-Жак высадил множество благоухающих кустарников и цветов, приручил там множество птиц. Это был период благополучия и относительной передышки. Она кончилась, как мы увидим, поспешным бегством из Франции.

К нему совершали «паломничества», несмотря на утомительный подъем от замка к Мон-Луи, и герцоги Люксембургские, т. е. покровители этого чудного жилища, и множество самых именитых аристократических особ, которых Руссо с явным удовлетворением подробно перечисляет. Ему определенно льстит этот пышный перечень. Эта мода на него, которая доставляет ему самолюбивое удовольствие. Он считает естественным такой неслыханный успех его, безродного бедняка. Он вместе с тем не может не помнить об условности подстроенного герцогиней хождения знати в Мон-Луи, церемониальной поверхностности и пустоты окружавшего его поклонения.

На этих страницах мы в очередной раз обнаруживаем показательную и разительную трещину, проходившую через сознание Руссо.

Он был Руссо прославленный и Руссо гонимый, он был Руссо, исполненный оправданной гордости, и он был пожизненный плебей. Он считал приятным и победительным «паломничество» к нему герцогов, принцев и маркизов. И он почти всех их презирал.

С одной стороны, мы читаем: «Всеми этими посещениями я был обязан благосклонности герцога и герцогини Люксембургских; я понимал это, и сердце мое было полно благодарности. Однажды в припадке умиления я сказал герцогу, обнимая его: “Я ненавижу великих мира сего, пока не узнал вас, а теперь ненавижу их еще больше, – ибо вы показали мне, как легко им было бы заставить себя обожать”». Уязвимый Руссо всегда был падок на доброе отношение и слаб перед ласковой приветливостью.

С другой стороны, он тут же сопровождает «умиленную» реплику, в которой неловко и даже жалко смешаны «ненависть» и «обожание», решающим, как ему самому кажется, комментарием.

Впрочем, приглашаю всех, кто знал меня в это время, засвидетельствовать, заметили ли они, чтобы весь этот блеск хотя бы на минуту ослепил меня, чтобы дым этого фимиама одурманил мне голову, изменился ли я в своем обращении, стал ли менее прост в своих манерах, раздружился ли с соседями, перестал ли тесно общаться с народом, не был ли так же готов всем услужить, когда мог ... Тереза подружилась с дочерью каменщика, моего соседа, некоего Пийе, а я подружился с ним самим; и вот, пообедав утром в замке – не ради удовольствия, а чтобы сделать приятное супруге маршала, с каким нетерпением возвращался я вечером оттуда, чтобы поужинать с добряком Пийе и его семьей то у него в доме, то у меня! (с. 458–459).

Он любезно – но без удовольствия – обедает и беседует с капризной герцогиней, которой побаивается, и – с

нетерпением возвращается в Мон-Луи, чтобы поужинать и расслабиться с каменщиком и его домашними. Этот незатейливый рассказ в целом – едва ли не простейшая эмблема своеобразной ситуации, которая всегда (на разных уровнях и с разной остротой) царапала сердце и самоощущение Жан-Жака.

7 Вернемся теперь к несравненно более раннему эпизоду юности, едва ли не самому выразительному в этом роде во всей «Исповеди», к тому же показывающему, каким путем натура, происхождение и повседневные привычки Руссо приобретали принципиальный и даже мировоззренческий характер.

Следует предупредить терпеливого читателя, что отбираемый мной материал всегда должен не только служить все новым и новым, с разных сторон, доказательством небезосновательности моей общей точки зрения, но и заблаговременно выдвигаемым доводом для предстоящей дискуссии. Снова ссылаться на множество выписок будет тогда уже почти ненужно.

Поэтому будем внимательны и вдумчивы.

Итак, в ранней молодости Жан-Жак пустился в очередное долгое странствие, будучи с почти пустым кошельком и без работы. Зато пешком, не спеша, с величайшим любопытством вглядываясь в природу и в людей. И без определенных целей. И до поры в заманчивом независимом одиночестве. Ради него он, собственно, и сбежал. Мы уже не раз слышали от него, что он умел при этом быть счастливым и красотами сельской местности, и сознанием полной свободы. (Он высказывает сожаление, что не вел в своих путешествиях дневников, и многое забылось.) Но вот что он спустя годы помнит «вполне отчетливо и ясно».

Однажды Жан-Жак нарочно свернул куда-то в сторону, чтобы поближе полюбоваться открывшимся видом, но затем всерьез сбился с дороги и несколько часов плутал по незнакомой местности, очень устав, страдая от голода и жажды. Потом он «зашел к какому-то крестьянину ... и попросил накормить меня обедом за плату. Он предложил мне снятого молока и грубого ячменного хлеба, говоря, что у него нет ничего другого». Жан-Жак с жадностью довольствовался этим, но, конечно, не насытился. Тогда крестьянин, внимательно за ним наблюдавший, проникся доверием к случайному путнику и сказал, что у него вид порядочного человека, который его не выдаст. Хозяин признался, что в подвале у него спрятана еда получше и, «пугливо озираясь», вынес оттуда «каравай прекрасного хлеба из чистой пшеничной муки, окорок ветчины, очень аппетитный, хотя и початый, и бутылку вина, вид которой обрадовал меня больше, чем все остальное. К этому была добавлена довольно сытная яичница, и я пообедал так хорошо, как может пообедать только пешеход». Платы хозяин не взял, отказавшись от нее «с необычайным смущением ... Он дал мне понять, что прячет вино от досмотрщиков, а хлеб – из-за налогов, и что его можно будет считать погибшим человеком, если кто-нибудь проведает, что он не умирает с голоду. То, что он в связи с этим мне рассказал и о чем я понятия не имел, произвело на меня неизгладимое впечатление; он заронил в мою душу семя той непримиримой ненависти, которая впоследствии выросла в моем сердце, против притеснений, испытываемых несчастным народом, и против его угнетателей. Этот крестьянин, хотя и зажиточный, не имел права есть хлеб, заработанный им в поте лица, и мог спастись от разорения, лишь прикидываясь таким же бедняком, как и его соседи. Я вышел из его дома столько же возмущенный, сколько расстроженный, скорбя о судьбе этого плодородного края...»

Несколько позже Жан-Жак попал в Лион, к м-ль дю Шатле, которая приняла его весьма радушно, и «это-то как

раз и лишило меня мужества обнаружить перед ней мое истинное положение и превратиться в ее глазах из человека хорошего общества в жалкого нищего» (с. 147–159).

Эти страницы, как нельзя более четко, вновь показывают, во-первых, как Руссо относился к людям вообще и был ли он только целиком и полностью сосредоточен на одном себе. Во-вторых, каковы молодые биографические истоки особых, как эмоциональных, так и идеологических, симпатий Руссо к простым людям и к простому непринужденному образу жизни. («*La simplicité de cette vie chamêtre me fit un bien d'un prix inestimable en ouvrant mon cœur à l'amitié*» (р. 42)).

Так ему было с молодости спокойней, естественней и уверенней среди людей. Настойчиво, благодаря этому, оставаясь самим собой, т. е. свойским, вышедшим из низов, прямым человеком, который держится независимо и с благородным самоуважением¹⁴.

8 Иное дело, что это не всегда и не вполне получалось. Руссо понимал, что попал в другую среду и что приходится при всем при том считаться с условностями.

Часто он страдал от подобной вынужденной раздвоенности.

Но был поначалу доверчив и благорасположен прежде всего к тем, для кого его «простота» и «странности» не были совершенно чуждыми. К тем, кто достаточно понимал бы его индивидуальную особость. Все же вместе с тем он чутко и быстро схватывал правила поведения, новые для сына женеvского часовщика, и, как умел, с неловкостью подыгрывал светским людям. И они, в свой черед, иной раз с затаенной снисходительной улыбкой, заинтересованно подыгрывали ему, занятому и удивительному оригиналу, «медведю».

Руссо был вынужден, будучи в кругу знатных особ, вести себя, как они... И часто попадал впросак, вел себя неадекватно светским нормам, «глупо» и вызывающе, о чем часто рассказывает – горько, иронично – в отношении и себя, и салонной среды. Руссо при всей наблюдательности и при всем уме вообще считал эти нормы непостижимыми, неприемлемыми и неосуществимыми – для него лично как действительно нормального человека (см. с. 196–197).

Ну что тут поделаешь. Он терялся, смущался – и в итоге чурался общества, уходил в себя. Особенно так бывало со светскими дамами. Его напряженная психика сплеталась и сталкивалась, как молвил бы Станиславский, с «предложенными обстоятельствами».

Странная и уже сама по себе вывернутая, болезненная ситуация. Сидение между двух стульев. Он стремился жить «в горизонте личности», а жил притом и в жестко иерархическом обществе, где слугу невозможно посадить обедать за один стол с господами.

Поэтому перед нами так наглядно предстают трудные социально-психологические комплексы Руссо, с годами не сглаживавшиеся, но болезненно обострившиеся.

Я боюсь, что среди не только людей светских, но и ученых единомышленников не сыскать ни одного, у которого происхождение, характер и жизненный опыт были бы сходны с Руссо. Кто бродяжил бы в юности, и голодал, и носил бы лакейскую ливрею, и ночевал бы где придется, и непринужденно поглощал снесь у первого же попавшегося крестьянина. У кого было бы такое же чувство двойной дистанции. Он сознавал себя одновременно и возвышенной, и приниженной других, негаданно попав в европейские знаменитости и сведя дружбу с людьми иного происхождения и разбора.

Социальное неравенство Руссо в домах, где ему приходилось бывать или даже проживать, может нам, нынешним, показаться преувеличенным или мелочным. Этот

взгляд свысока и из исторического далека был бы грубой ошибкой. Следует отнести к его очень конкретным рассказам серьезно, потому что они уж точно достоверны, не имеют – сами по себе – отношения к каким-то личным психическим свойствам Руссо и касаются повседневных условий, *общезначимых* для тех времен и лишь *поэтому* для самоощущения Руссо.

Чрезвычайно наглядно и с присущей одному лишь Руссо прямоотой переживание сословного неравенства проступает в письмах к герцогу Люксембургскому, герцогине и к мадам де Буфле (*Lettres...* р. 122–133). Дело в том, что, впервые встретив гранда, который обходился с ним на равных, неподдельно дружески и заботливо, Руссо все же тем острее опасался, в какой мере подлинной была эта столь непривычная дружба, не может ли она оказаться всего лишь учтивым покровительством и не подстерегает ли его горделивое чувство достоинства очередное унижение и разочарование.

В 1758 г. он не раз именно поэтому отклонял приглашения в герцогский замок, пока сам герцог не посетил его первым со свитой в его более чем скромном жилище близ Монморанси. Руссо был тронут и стал частым гостем замка маршала, где встречал всяких других, естественно, высокопоставленных гостей. Его принимали на правах близкого друга.

И вот Жан-Жак пишет герцогу неожиданное письмо, одно из тех писем, на которые был способен только он (р. 125–126). От души благодаря за внимание, он далее подчеркивал, что их близость может быть только «условной» (*cet engagement pouvait être que conditionel*) и отклонял приглашение переселиться в замок «при крайнем расстоянии, которое есть между Вами и мной». Он, проживая у друзей, придерживался бы с ними равного тона, который был бы неучтив и немислим «в виду Вашего ранга». И он не представляет, как можно было бы, пребывая в постоянной близости к герцогу, изменить манеру общения на фамиль-

ярную. Учитывая, поясняет Жан-Жак, что он бывает в Монморанси, соблюдая должные приличия, он боится невольно сорваться из-за дружеских чувств. Его преследует этот страх и сомнения, и он уже совершил некоторые промахи. «Этот страх резонен для человека, который совершенно не знает, как следует вести себя с грандами». Он, Руссо, надеется, что будет правильно понят, он просто не желал бы злоупотреблять дружбой с маршалом, которой дорожит.

Следующее письмо Руссо начинается со слов: «Ваш дом очарователен, пребывание в нем усладительно». Их взаимное уважение и дружба («Вы сами произнесли это слово») – «зрелище редкое и, может быть, уникальное». Поскольку есть «такая разница в их положениях». Люди одинокие обычно романтичны, и его чувства к герцогу окрашены именно так. Потому-то «я не хочу, чтобы Вы были моим патроном, а я, со своей стороны, обещаю не стать Вашим панегиристом... Но для этого нужно, чтобы Вы остались тем, кто Вы есть, а мне позвольте остаться собою, *me laisser tel que je suis*» (р. 175–176). Руссо знает, что стоит ему провести хоть одну ночь под герцогским кровом, «с меня спросит публика, может быть, потомки, и мне нечего будет им ответить». О потомках, надо сказать, поминает часто.

Тем не менее, при всем смущении, в письме к герцогине Руссо просит принимать его наедине, потому что он тяготеет присутствием других, чуждых ему гостей. А в письме к Буффле он просит, чтобы маршал не делал ему подарков, вроде собственноручно убитой дичи. Он дорожит общением с герцогом, но не любит даже от него подарков, на которые не в состоянии ответить. «Я не вижу в нем ничего, что было бы мне не по сердцу, за исключением его титула; а еще он лично привлекает меня к нему гораздо больше, чем его ранг, который меня скорее отталкивает» (р. 132–133).

По-моему, уже этого достаточно, чтобы никогда не упрекать Руссо в гордыне или по крайней мере, понимать ее социальные основания.

Вот одна из «бытовых» частностей, которые освещают вышесказанное.

Имея дело с людьми богатыми и находящимися в другом положении, чем избранное мной, я, не держа открытого дома, как они, был в то же время вынужден во многом подражать им, и мелкие расходы, ничего для них не составлявшие, для меня были столь же разорительными, сколь и неизбежны. Иной едет, например, погостить к знакомым в деревню, – ему и за столом и в спальне прислуживает собственный лакей, он посылает этого лакея за всем, что ему нужно; не имея никакого дела с хозяйской прислугой непосредственно, даже не видя ее, он дает ей на чай, когда и сколько вздумает; а я – один, без слуги – всецело зависел от хозяйских слуг, расположения которых по необходимости вынужден был добиваться, чтобы избежать больших неудобств; являясь в глазах прислуги ровней хозяину, я должен был обращаться с нею, как его ровня, и одаривать ее даже больше всякого другого, потому что действительно гораздо больше нуждался в ней. Еще полбеда, когда слуг мало; но в тех домах, где я бывал, их было много, все чрезвычайные наглецы, плуты, народ очень расторопный в смысле угождения своим собственным интересам, – и мошенники эти умели сделать так, что я бесперывно в них нуждался.

И далее на полторы страницы унижительные подробности. О том, как любезные попытки кого-то из родовитых «умных парижанок ... побережь мои средства» еще больше «меня разоряли» из-за необходимости давать чаевые их лакеям. «Предлагала ли она мне провести неделю-другую у нее в деревне, она говорила себе: “Все-таки бедный малый сэкономит за это время, еда ничего не будет ему стоить”. Она не думала, что в течение этого времени я совсем не буду работать, что мои домашние расходы на хозяйство, квартиру, белье и одежду не прекратятся; что я буду платить ци-

рюльнику вдвое дороже и что у нее мне придется тратить гораздо больше, чем у себя дома» (с. 447–448).

Несколько ниже Руссо повествует о предложении г-на де Мальзербера писать регулярные обзоры для «Газеты ученых». Гонорары за книги бывали скромными и с запозданиями, быстро расходовались. Но Жан-Жака, несмотря на предлагаемый приличный приработок (он продолжал жить прежде всего перепиской нот), не занимали ни темы таких обзоров, ни их принудительность по времени.

Равнодушие к делу заморозило бы мое перо и опошло бы мой ум. Думали, что я могу писать, как ремесленник, я же никогда не умел писать иначе, как по страсти ... С некоторого времени я решил совсем оставить литературу и в особенности – ремесло писателя. Все, что со мною произошло, совершенно отвратило меня от литераторов. А я на опыте убедился, что невозможно идти по этому пути, не поддерживая с ними отношений. Столь же опротивели мне и светские люди, и вообще тот *двойственный образ жизни, который я вел, принадлежа наполовину себе, наполовину кругам, для которых совсем не подходил* (с. 447).

Ко всем подобным замечаниям нам надлежит отнестись с продуманным доверием и серьезностью.

Насколько далеко и проницательно заходили мысли Руссо, возвращавшие в нем идею социального отшельничества! Именно на этих и последующих страницах Руссо пишет о своей убежденности в жизненной надобности сочинения «Исповеди».

С моей точки зрения, неустранимое положение плебея и бедняка – *исходная* причина и почва раскола Руссо со светским и просвещенным обществом. Но одной ее мало для понимания ситуации. С этим сочеталось и на это накладывалось беспрецедентное и глубоко пронизывающее ум Руссо понимание *абсолютной ценности особенностей*

и независимости Я. Прибавим к этому его выношенное и преобладающее – в отличие от «философов» – горячее сочувствие именно к низам. Его социальные идеи. Его внерациональную религиозность, происходящую от чувствительности и воображения.

В «Эмиле» описано, сколько времени и усилий потратили Эмиль и Софья, чтобы помочь попавшему в беду крестьянину. «Социальная почва» взглядов Руссо – его принадлежность не к «третьему», а скорее к *четвертому* словию.

В том же «Эмиле» он рассказывает, насколько приятны были ему сельские работы – особенно сбор овощей и фруктов. Можно ли вообразить залезающего с мешком на яблоню Вольтера или ворочающего в огороде тяпкой Дидро?..

Меня не слишком занимает, в какой логико-культурной связи находились эти моменты и стоит ли пытаться выстроить их причинно-следственную цепочку. Так или иначе, все они вместе и были исторической основой отчуждения Руссо даже от энциклопедистов. И уже в качестве дополнительной краски – вкупе с природной склонностью к одиночеству и взвинченностью стали «одиночеством» идейным и даже метафизическим.

10 Наш Жан-Жак был существом не то чтобы более неблагоприятной судьбы, чем у других – назовем их так – вольнодумных и ученых интеллигентов Просвещения. Дидро или Вольтеру, надо полагать, по-своему доводилось расхлебывать жизнь не слаще. Хотя... чем же было плохо после предыдущих испытаний благополучному владельцу Фернея?

Руссо, чем выше он поднимался, тем пуще оказывался на отлете. Его самолюбие, воззрения и психика приводили, как уже доводилось подмечать, не только к субъективному,

но и к реальному отчуждению и одиночеству в общественной иерархии и даже в своей вольнодумной среде. И вот он спустя 200 лет попал в крепкие объятия психиатров.

Его притязания в исторической французской обстановке были слишком, повторю, противоречивыми и преждевременными. Он с юности предавался самым «химерическим», полудетским мечтаниям о своем будущем, которые впоследствии достаточно едко высмеял. Он сам, как мы могли убедиться, сознавал себя в двойном существовании, прежде всего вымышленном (хотя истинном в высшем смысле!), но и в наличном и жалком.

Дело обстояло так: с одной стороны, ему, повторю, в молодости очень хотелось быть наравне со светскими людьми, быть одним из членов «хорошего общества». Его не могло не привлекать всеобщее признание. Однако по мере того, как оно приходило, социальная и психологическая коллизия усугублялась. Чем больше он старел, тем сильнее ему хотелось оставаться самим собою, пусть «непохожим» на других.

Я вновь и вновь считаю все это наложением исторических условий на своеобразие Жан-Жака, его идеи и его жизненный путь (или наоборот). Взрывной и достаточно сознательной установки на «горизонт личности» – и не дозревшей до нее обстановки (или наоборот). Дело не только в исключительных идеях Руссо. В бесчисленных спорах об индивидуализме Руссо – социальная конкретность его биографии и *цельной установки на самодостаточность своего Я*, на конкретном историческом фоне, почти не принимается во внимание.

Между тем отсюда, в первую очередь, сложность и проблемность маргинальной личности Руссо, к тому же обостренные его акцентуированной психикой. Последнее я признаю с середины его шестого десятка или даже с 1762 г., но «мания» подозрительности никоим образом не объясняет состояние Руссо.

11 Приведу еще один, иллюстрирующий двойственность самосознания Руссо, штрих. Ему нередко и неслучайно думалось о том, как могла бы – при другой игре обстоятельств – совсем иначе сложиться его жизнь. Он понимал, что, несмотря на любые врожденные дарования и склонности, они могли бы не воплотиться в конкретную судьбу, неизбежно зависящую также от случая. Или воплотиться в других жизненных поворотах. «Хотя сердечная чувствительность, заставляющая нас находить наслаждение в нас самих, является делом природы, а может быть, и следствием нашей организации (так и в оригинале: *peut-être le produit de l'organisation*, р. 148), она нуждается в определенных условиях, чтобы развиваться. Без этих случайных условий человек, крайне чувствительный от рождения, ничего не испытал бы и умер, не познав собственной природы» (с. 96).

Руссо часто признается, усмехаясь, что жил в детстве и юности в воображаемом мире – или в воображаемом будущем – куда больше, чем в наличной реальности. В детстве он уже бредил Плутархом; «я (...) воображал себя греком или римлянином, становился персонажем, жизнеописание которого читал...» (с. 13).

Вот что он пишет в связи с этим, размышляя о возможном ином жребии для себя. Позволю себе опять длинную выписку, потому что это очень важный момент для понимания личной рефлексии Жан-Жака.

Прежде чем предоставить меня моей злополучной судьбе, пусть разрешат мне бросить взгляд на ту участь, которая, естественно, ожидала бы меня, пощади я в руки лучшему хозяину. Ничто так не подходило к моему характеру и не могло сделать меня более счастливым, чем спокойное и скромное положение хорошего ремесленника, особенно такого, как, например, гравер в Женеве. Это занятие достаточно прибыльное, чтобы дать безбедное существование, но не настолько доходное, чтобы привести к богатству, ог-

раничило бы мое честолюбие до конца жизни и, давая мне заслуженный досуг для удовлетворения моих скромных потребностей, *удержало бы меня в моей среде*, не давая никакой возможности ее покинуть. Обладая воображением, достаточно богатым, чтобы украсить мечтами любое состояние, достаточно могущественным для того, чтобы переносить меня, так сказать, из одного состояния в другое, — я не придавал бы значения тому, в каком нахожусь на самом деле.

Между местом, в котором я находился бы, и любимым воздушным замком для меня не могло быть непреодолимого расстояния. Из одного этого следовало, что самое скромное положение, связанное с наименьшими беспокойствами и заботами, всего более оставлявшее ум свободным, подходило бы мне больше всего ... В лоне своей религии, своей родины, своей семьи и друзей провел бы я жизнь мирную и тихую, вполне отвечающую моему характеру, сочетавшую в себе *труд по вкусу и общество по сердцу* ... *Скоро забытый, конечно, я был бы, по крайней мере, оплакиваем то время, пока меня помнили бы* (с. 43–44).

Нет, он, жаждавший бессмертия и вечной памяти на земле, с такой версией судьбы, разумеется, ни за что не согласился бы. Но он понимал роль случая в жизни каждого и не мог не раздумывать, почему сложилось так, как сложилось. Воображение его, как всегда, работало *без устали*.

Есть и другие, но уже вполне насмешливые, рассказы в самом начале третьей книги о том, как, начитавшись романов, он представлял себе свою будущность в юности (с. 44–46).

Тут нет ни малейшего наигрыша. Это, как всё его признания, искренне и выстрадано. Но нет и полной истины. Скорее грустное лукавство и усмешка над собой. Руссо не думал перечеркивать то, что состоялось. Он не мог бы, даже в рефлексии, отказаться от того, кем стал, от самообразования и творчества, хотя позднее запальчиво и отчаянно

заявлял об уходе из литературы. Однако никогда не переставал писать и мечтал как-то совместить свой гений, свою личность – и свою негаданную ранее «среду» (ma sphère, l'état – p. 77), свое (?) новое окружение.

Он хорошо знал, какой разрыв образовался между одним и другим. По-моему, не имеет первостепенного значения на фоне объективного, исторического разрыва, в какой степени разрыв был следствием (разумеется, усугублявшей его, но и изрядно преувеличиваемой) крайне чувствительной и неустойчивой психики. Или, напротив: непопадание в среду, которая считала бы естественным правом индивида его взгляды на то, что чуть-чуть позже назовут «личностью», и его простонародные вкусы, было первопричиной нарастания врожденной нервозности?

В качестве историка культуры я не в состоянии толковать жалобы и раздумья Руссо иначе. Я оцениваю их поэтому всерьез и с доверием к голосу Руссо как источнику нашего анализа, его диалога с самим собой и диалога современного читателя с писателем...

Необходимо признать, что «Исповедь» трагична.

12 Подытожим еще раз кое-что, дабы двинуться дальше. Луиза была первой светской дамой, которую встретил Жан-Жак. Но, как хорошо известно, далеко не последней... Он будет со временем беседовать, иногда и подружески, с самой высокой французской знатью, вроде герцога и герцогини Люксембургских, и вот он был приглашен королем на личную аудиенцию. Он относился к сильным мира сего без малейшего подобострастия, а к простым крестьянам, как мы убедились, не менее уважительно и дружелюбно. После вынужденного отказа ехать к королю в свете, естественно, усилились толки об его неслыханной заносчивости.

Руссо пишет, что в юности он и мечтать, конечно, не мог о таком невероятном взлете, ему это немного льстило – и он это презирал. Будучи честолюбив, он ни капельки – ну, почти – не был тщеславен. Взлет был невероятным и заслуженным. Но психологически и житейски не комфортным. Он нередко ощущал, что на него все же смотрят сверху вниз, и научился точно так же, свысока, смотреть на них и на болтовню в гостиных. Руссо очень остро понимал, что он в этих гостиных в социальном плане им не ровня. «Пожалуй, были готовы показывать меня, как Полишинеля, взимая по столько-то с персоны. Не могу себе представить зависимости более унижительной и жестокой, чем эта» (с. 320).

«Бывая против своего желания в большом свете, я, однако, не был в состоянии ни усвоить его тона, ни подчиниться ему; поэтому я решил обойтись без него и создать себе свой собственный тон» (с. 321).

Такова – по самому широкому обводу – общая причина «одиначества» Руссо. Далее – сужающимися кругами – следуют более конкретные причины.

Кем он был в закосневшем сословном обществе? – сыном часовщика и бродягой в отрочестве «жалким подмастерьем и всего-навсего мальчишкой из Сен-Жерве», «нижней», плебейской части Женевы (с. 2)... Даже Бернар жил в «верхнем квартале» Женевы и, несмотря на родство, «мы не были равны». Став ученым и знаменитым, Руссо никогда не забывал о том, из каких низов он возвысился. Вот чисто общественная почва его принципиального и столь страстного индивидуализма. Само собой, в соединении с личными поразительными особенностями его души и ума. Отсюда, прежде всего из пережитого горького опыта отчуждения и осуждения его поведения даже близкими друзьями, нараставший в зрелые годы (и поменявшийся, в конце концов, смысл) мотив одиночества. Руссо всегда представлял человеком с необычными для общества странностями. И терпеть не мог житейских поучений – даже из уст Дидро.

Почему, например, он в отличие от всех ученых предпочитал деревенский образ жизни непрерывному общению с яркими и образованными людьми в блестящем Париже? Хотя и нуждался в таком общении. Потому что (вспомним слова при объяснении своей набожности) «я так хочу» Это тоже обычно встречало со стороны таких людей непонимание и неприязнь.

Видите ли, это просто не было принято.

Как и привычка даже по торжественным поводам несколько небрежно и по-простому одеваться (хотя в этом пункте он, как мы заметили, вскользь посмеивается над собой). На деле бедному Жан-Жаку было не до шуток, если он был вынужден защищаться и по этой части в связи с появлением в качестве автора «Деревенского колдуна» на премьерe в Опере.

Когда залу осветили и я почувствовал, что меня в таком одеянии видят все эти люди в великолепных нарядах, мне стало не по себе; я спросил себя: *на своем ли я месте, пристойно ли мне быть здесь?* И после нескольких тревожных минут ответил себе: «Да», с неустрашимости, происходившей, может быть, скорее из невозможности отступления, чем от убедительности доводов. Я сказал себе: «Я на своем месте, раз я смотрю на сцене свою пьесу, раз я сюда приглашен, раз я написал ее не только для этой цели, раз в конце концов никто не имеет больше прав, чем я сам, наслаждаться плодами моей работы и моего таланта. Я одет был, как обычно – ни лучше, ни хуже; если только я опять стану рабом общественного мнения хоть в чем-нибудь, мне вскоре придется подчиниться ему во всем. Чтобы *всегда быть самим собой*, я нигде не должен краснеть за то, что одет согласно положению, которое избрал. Мой внешний вид прост и небрежен, но чист и опрятен; точно так же и борода сама по себе не представляет ничего неопрятного, раз она дана мужчинам природой и, в зависимости от времени и моды, иногда считается украшением. Меня могут найти смешным и невежей? Что мне до этого!» (с. 329).

Думаю, достаточно вслушаться в напряженность этого пассажа, могущую сегодня показаться притворной или шутовской, чтобы ясней отдать себе отчет в реальном положении и реакциях Руссо.

Гораздо позже ему вздумалось завести одеяние в «армянском» вкусе, с кафтаном и высокой меховой шапкой, найдя это более удобным (см. одну из иллюстраций). И так появлялся у герцога, воспринявшего это невозмутимо.

Он признается, что был, как многие другие, изрядным лакомкой, это что ж, но с юности Руссо привык особенно наслаждаться деревенской пищей. Но разве это было принято в светской среде?

Потягивать вино он тоже очень любил. Слава богу, хотя бы в этом он никак не противопоставлял себя другим, предпочитая, впрочем, местные сельские сорта из тех, что подают в кабачке. Теперь все помянутые вкусы и повадки Жан-Жака нам достаточно понятны и не содержат в себе ровно ничего вызывающего. А кое-что стало нередким. Теперь мы спокойно восхищаемся, допустим, неординарным образом жизни на отшибе, вне городов, Пришвина, или Астафьева, или композитора Исаака Шварца, пусть его для себя не перенимая. Теперь мы говорим: «Такой уж он был человек».

Быть *вот таким*. Может быть, совершенно исключительным, полностью личным. Ярko индивидуальным. Или просто чудачком. Ныне нас трудно чем-то удивить. Кому какое дело? Вместе с тем каждый, особенно неординарный, хотя и рядовой человек, так или иначе нам интересен.

Почитатели таланта и просто праздно любопытствующие часто посещали Руссо в Париже, даже в «Эрмитаже», да и позже, нарушая его блаженное любимое сочинительское затворничество. Отвлекали от работы. «Я не мог отказывать всем» (с. 320). Естественно, он бывал этим крайне раздражен.

Руссо едва ли не с юности был холериком; тут я согласен со многими, это в «Исповеди» бросается в глаза и пере-

росло, в середине шестого десятка лет, пожалуй, во что-то похожее на нервное расстройство.

Ибо он, как прежде, даже после переезда в Париж и сближения с энциклопедистами, после многочисленных и разных сочинительских опытов, собственно, был почти никем. Сейчас мы вряд ли вспомнили бы его имя, разве что в ученых комментариях.

И он же, почти под 40 лет, вскоре после присуждения ему в 1750 г. премии Дижонской академии за знаменитые «Рассуждения о науках и искусствах», — отныне внезапно стал *самим Руссо*. Он всегда гордился своим внезапным и потрясающим успехом, но в старости начал считать его источником последовавшей со временем личной трагедии.

Его со всех сторон упрекали в непомерной гордости. (А что ему оставалось, кроме гордости?) И чуть ли не в противопоставлении себя всем другим, остальному обществу, чуть ли не человечеству.

О нет, не человечеству (если не иметь в виду общей оценки исторического состояния оногo) и отнюдь не всем.

Ведь иное дело, например, дружба с Дюкло, навсегда оставшаяся незабываемой в сердце Руссо. Ибо тот вел себя как друг не напоказ, а на деле, и впредь ни в каких «интригах» против Жан-Жака не участвовал (с. 322–323). Так что не всех подозревал Руссо и не со всеми порывал.

Мы к этой теме еще вернемся. Пока достаточно тут же выделить и ювелира Мюссара, старого мудреца и чудака. Также был целый круг людей, которые встречались в его уютном доме, окруженном собственноручно возделанным им садом. Руссо поминает их и особенно самого Мюссара с теплотой, юмором и любовью (с. 325–326).

Автор «Исповеди», на которой в первую очередь должно быть основано истолкование личности Руссо, ясно возражает против подобной безмерно расширительной (или предвзято односторонней) оценки.

Руссо не был маниакально возвеличивающим себя лгуном и обманщиком (что признано, кажется, всеми или почти всеми) и тем паче никогда, даже в старости, не был просто психом, что признано, как мы увидим, не всеми. Да, он знал себе цену. Он сам, со столь часто бросающейся нам в глаза самоиронией, то и дело касается важнейшей для него темы «Я и другие».

Толпа, что женеvских школьников, что взрослых обывателей, что салонных болтунов, была ему скучна. Скучны их развлечения, их пустота.

А знать? Что ж, эти люди могущественны, он же бессилен. Они сказочно богаты, а он, по существу, бедняк. И он им не ровня. Иногда с этой реальностью надлежало смиряться, идти на уступки, заводить житейски полезные знакомства, искать, черт возьми, заступничества и покровительства. Но в его самосознании, как мы сейчас выразились бы, существовала другая система ценностей. И он полагал, что тут уж они ему не ровня.

Поначалу, прибыв в 1744 г. в Париж, Руссо, будучи провинциальным чужаком, был принят в гостиных тепло и любезно и благодаря особенно Дидро был доволен и примирился с новыми для него правилами игры, очень далекий от мизантропии. После первой своей знаменитой и поразившей всю образованную Европу книги атмосфера учтивости вокруг него достигла пика. Как замечает Кассирер, это было в Париже «время акмэ и зенита куртуазности»¹⁵. Только после переезда в «Эрмитаж» возникает и потом уже безостановочно нарастает отторжение от «других», тоска и чувство *иного* «одиночества».

Руссо был горд, но далек от самопоклонения, как и от покорного конформизма. Мир был ему чужд, но нужно было жить в этом мире.

Он двигался по краю.

13 Приходилось выстраивать некий колеблющийся баланс. Ради безопасности и средств, необходимых для существования. Для продолжения работы. Ради успеха. Однако непременно при одновременном сохранении своих убеждений – и самости. Ему далеко не всегда удавался этот трагический и почти неосуществимый баланс.

Крайне впечатлительный и чувствительный Руссо, бесспорно, именно так сам расценивал ситуацию. Не в чисто идеологических, а преимущественно в этических и сентименталистских выражениях. Он не без эмоциональных преувеличений, но действительно глубоко страдал по мере исчезновения молодого оптимизма и по ходу духовного созревания. Отсюда столь настойчивый, центральный для него, сказавшийся не только в «Исповеди» автобиографизм Руссо.

Добавлю также следующее, в плоскости уже только моей книги, т. е. ее ограничительно поставленной культурно-исторической темы.

Что означали для окружающих индивидов, в большинстве своем отнюдь не живших «в горизонте идеи личности», поведение и душевный склад Руссо?

И что они означали даже для культурного меньшинства, пусть в целом тоже подвигавшегося в середине XVIII в. к этому горизонту?

Даже для энциклопедистов, которые обычно бросали отважный личный и групповой вызов сословной монархии и церкви, но не сделали для себя необходимой и существенной *именно эту сторону модернизации* – идею независимой самости Я, т. е. высокого индивидуализма, в такой же степени прозрачной и наглядной, с руссоистской последовательностью и страстностью, также на повседневном и бытовом уровне, также в интимном самосознании.

Более или менее вольнодумные, прежде всего в философском, религиозном и политическом плане, эти замечательные люди, в двух случаях отнюдь не уступающие

по величию Руссо, – может быть, в большей мере, чем наш Жан-Жак, считались с принятыми в данном кругу этикетными нормами поведения. Ведь они все же, как правило, были дворянами. Будь то барон Гольбах или д'Аламбер. Или столь гениальный Вольтер, оказавший сильное влияние на Руссо, но не переносивший его на дух, что, впрочем, стало обоюдным. Из совсем простого круга вышел разве что ближайший друг, оригинальнейший и глубочайший Дени Дидро (от любви к нему Руссо – см., в частности, с. 305 – никак не мог полностью высвободиться).

Публичные (и совершенно разные на разных социальных уровнях) стереотипы поведения пронизывали все пласты феодального сословного общества. Как и ранее, в XVII столетии, в мире Журдена, в мольеровском космосе.

Во всяком случае, при дворе ли, в прослойке фрондирующей знати, в пленке образованных инакомыслящих и бесстрашных интеллектуалов, часто дворян, в «третьем сословии», среди будущих якобинцев или жирондистов, ими еще не ставших, или среди, допустим, крестьян в несходных провинциях либо мастеровых в блестящем Париже, – люди вели себя сообразно тому, что было здесь и тогда (и всегда) заведено среди им подобных. При выборе образа жизни, места пребывания или одежды, выборе в салонах или в более простом, но притязательном кругу третьего сословия, или в совершенно простом плебейском и крестьянском кругу. Даже бунтуя или созрев для бунта против господствующих институций и идей, они меньше пострадали тем конкретным людям, кто находился *ниже* «третьего сословия».

Они вели себя в подобающем для данного круга стиле. И, пожалуй, *никто* не ощущал себя жалким выскочкой под житейскими впечатлениями, со стороны чужих глаз, пусть и столь богато одаренным природой.

Руссо же, как никто вокруг, остро чувствовал себя, так сказать, выходцем из дна, хотя и более чем заслуживающим этого «выхода». И следовательно, сознавая свою необыч-

ность, ко времени создания «Исповеди» почувствовал неустрашимую необходимость правдиво уяснить для себя и будущих читателей, что же он такое в связи с его претензиями быть «одним», а одновременно считаться (или не считаться!) с ненормальными нормами времени, на которое выпала его далеко забежавшая в следующий век позиция.

Итак, опять и опять повторю свой человеческий и исследовательский взгляд на личность этого писателя и его сочинения. Все это было искренним, выстраданным самооправданием и столь же доходящим до малейшей жизненной детали, нелицеприятным самосудом. Понять себя изнутри в самом возвышенном и самолюбивом плане и тут же, словно бы со стороны, оценить свое поведение трезвым и ироничным взглядом.

Руссо о многом горько сожалел, но не каялся, многое восхвалял в себе, но не хвастал. Что ж, таким уж создала его природа. Высшая, поверх всего прочего, была задача: понять, препарировать и оценить себя как человека, чьи способности существования, особенно же стиль думания и почти горячечные чувствования, чьи логичность и импульсивность, грубые слабости, короче, вся судьба – были в подобной неизбежной перепутанности, слитности и уникальности свойственны только ему на всем известном ему белом свете.

Ему одному.